

The book cover features a man in medical scrubs with a stethoscope, sitting at a desk in a hospital setting. The background shows a wooden cabinet and a window with blinds overlooking a city.

Ева Маэлль

Коридоры. Кори

СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

18+

Ева Маэлль
Коридоры. Кори
Серия «Коридоры», книга 2

<https://litres.ru/74363717>

SelfPub; 2026

Аннотация

«Коридоры. Кори» — это джаз с матом. Голос, который не врёт. Мужчина, который возвращает людей с того света, но не умеет просить о помощи. В школе он был тенью лучшего друга. Смотрел, как тот забирает то, что он сам не осмелился попросить. И ждал. Годами.

Это книга о том, как перестать быть тенью. О любви, которую нельзя назвать любовью. О дружбе, которая держится на молчании. И об одной ночи, которая переворачивает всё.

Роман — вторая книга дилогии «Коридоры», которую можно читать отдельно, и она затянет с первой фразы. Голос Кори останется с вами даже после того, как вы закроете последнюю страницу.

«Я — Кори Уэйн, реаниматолог. Самый громкий голос этой больницы. И я жду тебя там, где застыл Будапешт. Твой. Наш. Ничей».

«Кори настолько живой, что я не верю, что его написала женщина».

«Я не просто читала книгу — я жила в ней, стояла рядом в операционной, ненавидела Кори, когда он был слабым. Он тот, ради которого хочется быть лучше». (Из отзывов читателей.)

Содержание

Пролог	5
Конец ознакомительного фрагмента.	25

Коридоры. Кори

Пролог

Меня зовут Кори Уэйн, и мы, вероятно, уже знакомы. Я реаниматолог. Возвращаю людей с того света, заставляю биться сердца, которые уже остановились. Я говорю родственникам: «Он будет жить». А иногда: «Мы сделали всё, что могли». Последнее — всегда ложь. Потому что мы никогда не делаем всё. Мы просто перестаём пытаться. И это не только про больничные коридоры.

Я — лучший друг Мии. Той, которую вы любите. Той, которую я никогда не должен был любить. Надёжный. Весёлый. Безопасный. Смеюсь громче всех, прикрываю боль матом, а одиночество — иронией. Я — тот, кого хотят медсёстры и уважают врачи. Но это не вся правда. А то, что принято называть ею не всегда укладывается в слова. Я никогда не был тем, кем кажусь. Но при этом никогда не притворялся.

В школе я был тенью Энди Шейна. Тенью, которая смотрела на мою на рыжую и не смела подойти. Ждала. Годами. Десятилетиями. Той самой тенью, которая смотрела, как она стоит на коленях перед ним, и ничего не сказала. Потому что я не умею брать — только ждать.

Я ждал, когда кто-то заметит меня. Не как врача. Не как друга — просто как человека.

А потом случился Будапешт.

И теперь я сижу в своей квартире на тридцать первом этаже, смотрю на остывший кофе, на свои руки, которые держали её тело, её дыхание, её тишину, — и пытаюсь понять: что я сделал? Кем я стал? И есть ли у меня право называть это любовью?

Это книга не о том, как я спасаю жизни, хотя я буду это делать. Я же, сука, Кори Уэйн. Она о том, как я учился дышать. О том, как я перестал ждать. О том, как я переступил черту, которую никогда не планировал пересекать. О том, как я нашёл дом в человеке, который не был моим. И о том, как мы поклялись никогда не говорить об этом вслух. Это исповедь человека, который всегда был отражением или зеркалом, и вдруг стал светом. И теперь не знает, как с этим жить.

Идя по моим коридорам, я покажу тебе, как можно держать на плаву и одновременно тонуть. Как можно любить так, чтобы это нельзя было назвать любовью, быть мужчиной и другом одновременно. Как можно стоять на коленях перед женщиной, которую ты не должен хотеть, и чувствовать, что ты наконец-то стал собой.

Я не обещаю, что это будет легко. Не обещаю, что ты не будешь плакать. Хотя знаю, что будешь. Потому что это — правда. Самая грязная, самая красивая, самая тихая.

Ты пойдешь со мной? Туда, где темно? Где я прячу то, о чём никогда не говорю вслух? Где осталось моё прошлое, повисло молчание, и застыл Будапешт — мой, наш, ничей?

Тогда читай. Слушай. Плачь. Дыши.

И помни: Ты — не один. Я здесь. Мы здесь. Мы — твоя опора, как Мия стала моей. Как Ева стала нашей.

Ты заметил, что в нашей истории с тобой говорит автор — Ева Маэлль. Она — голос, который держит тебя за руку, когда становится слишком темно. Она — та, кто включала музыку в первой части, чтобы ты чувствовал. Она не даёт тебе упасть в пустоту в моей книге, когда текст становится слишком тяжёлым.

Ева как друг, который сидит рядом с тобой, смотрит на дождь и говорит: «Я знаю. Я знаю, как тебе сейчас. И я здесь».

Она не объясняет — просто создаёт пространство, тишину между строк, в которой ты можешь выдохнуть. Она —

объятие, которое не нужно просить. С ней книга становится исповедью. Твоей и Моей.

Когда увидишь её имя — не пропускай. Остановись. Позволь себе чувствовать, даже если это больно. Потому что только так — через боль и откровения — можно найти настоящую тишину.

Ты готов? Тогда иди.

Я — с тобой. Ева — с тобой. Нам пора.

Глава 1

Я всегда знал: Энди Шейн — это тот, кто забирает. Не крадёт, нет. Он просто приходит, смотрит своими коньячными глазами, и вещь сама перетекает в его руки. Как будто у неё нет выбора, как и у меня тоже.

Седьмой класс, новая школа, рюкзак, который больше меня, и имя, над которым все издеваются. «Корнелиус Дэвид Уэйн? Какой-то ты слишком тощий для такого brutального имени», — говорит он, видя меня в первый раз. И улыбается. Я должен его возненавидеть, но я искренне смеюсь. В моей душе не затаивается страх перед его дерзостью, как у будущего реаниматолога, который тогда и представления не имеет о том, что значит по-настоящему «возвращать». В его улыбке

нет зла. Только любопытство. Как у хирурга, который ещё не знает, что станет им, но уже режет взглядом. Между нами возникает редкая дружба, которая только крепнет с годами. Просто тогда мы не можем себе представить, что двое мальчишек, таких непохожих, но нужных друг другу, болтающих на уроках и переменах обо всём на свете, могут научиться молчать. Молчать так яростно и громко, что эхо недосказанного будет отражаться от стен госпиталя, в котором жизнь снова сведёт их вместе.

Мой отец, Дэвид Уэйн, — лучший человек, которого я знаю. Он работает архитектором, проектирует мосты и тоннели, но у нас дома он создаёт жизнь — с той же точностью и любовью к деталям. Он может починить всё, что сломалось: от крана на кухне до моего разбитого колена после того, как я упал с велосипеда. Он высокий, широкоплечий, с вечно взъерошенными тёмными волосами и такими же, как у меня, яркими голубыми глазами. Но главное — у него есть дар. Он умеет смешить. Не пошлыми шутками, а той редкой, тёплой иронией, которая делает каждого в комнате чуточку счастливее. Мама всегда говорит, что он может рассмешить даже покойника, и я верю, что это правда. Он превращает обычные ужины в спектакли, пародирует соседей, учителей, случайных прохожих так, что я давлюсь молоком, не в силах проглотить его от смеха. Он — мой герой. Мой первый настоящий друг. Тот, кто учит меня, что мир — это не только

боль и страх, но и абсурд, над которым можно смеяться. И я впитываю это, веря ему беспрекословно. Вся моя ирония, весь мой сарказм — это его наследство. Его голос до сих пор живёт в моей голове.

Я помню, как мы сидим за ужином, и он рассказывает о том, как на стройке кто-то перепутал чертежи, и вместо моста получилась арка, под которой нельзя было проехать. Он изображает прораба, который кричит: «Это не мост, это скульптура!» — и от смеха макароны застревают у меня в горле. Мама качает головой, но в её глазах тоже горят искры. Мы — семья. Как минимум были ею. Теми, кто смеётся вместе. И я думал, что это никогда не кончится.

Наши выходные — всегда священный ритуал. По субботам мы просыпаемся поздно, и отец жарит блинчики с клубникой, пока мама ставит пластинку с джазом. Я помню запах — масло, клубника, кофе, и этот джаз, который всегда звучит в нашем доме, наполняя его неспешной глубиной и особым, понятным только нам, смыслом. Мы едим за большим деревянным столом на кухне, болтаем ногами, и я рассказываю им всё, что случилось мной за неделю, в мельчайших подробностях — кого обидел, кого возненавидел, над кем подшутил. Они слушают. Они всегда слушают. Отец подливает мне сок и говорит: «Рассказывай, сын. У нас есть время». И я верю, что оно действительно у нас есть.

По воскресеньям мы ездим к бабушке. Он живет в доме

на окраине города, с большим садом, где растут персики и вишни. Я помню, что каждый угол его сада пропитан этими запахами, дарящими почти сентиментальное чувство уюта и покоя. Это рождает в моей детской голове контраст с тем, как дедушка выглядит. Он бывший военным, суровый на вид — седой, с глубокими морщинами на лице и с медалями, которые он никогда не надевает, но которые я нахожу в его шкафу, когда устраиваю там берлогу. Назвать меня Корнелиусом, разумеется, было его идеей. В этом имени чувствуется масштаб и какая-то непостижимая для моего ума в то время глубина — оно делает меня огромным в моих собственных глазах, но внутри я всегда мягкий, как тесто, из которого мама печёт пироги, как спелые фрукты с его сада.

Дедушка учит меня играть в шахматы, ворчит, когда я пытаюсь сжульничать, и всегда говорит: «Корнелиус, в жизни, как в шахматах. Иногда нужно пожертвовать фигуру, чтобы выиграть партию». Я не понимаю тогда, что он говорит о себе. О том, как он жертвует собой, своей семьёй, своей жизнью, чтобы мы могли жить спокойно. Я понимаю это только много лет спустя. Кстати, он всегда называет меня только Корнелиусом. Не «Корни», не «Кор» — а полным, тяжёлым, почти торжественным именем. Корнелиус. В этом есть что-то особенное. Каждый раз, когда он произносит его, я чувствую себя важным. Не просто мальчиком, которого терпят за его повадки и проступки. А кем-то, кто имеет настоящее значение. Кем-то, кого любят. В его голосе звучит уважение.

И почёт. И та глубокая, тёплая любовь, которую я понимаю лишь позже: она не похожа на родительскую. Родители любят тебя потому, что ты их. Дедушка любит меня просто потому, что я есть, я его продолжение, надежда и его свет в конце дня. А я люблю его. Я люблю их всех. И я верю, что так будет всегда.

А потом он болеет. Рак. Сначала это кажется просто словом, которое взрослые произносят шёпотом и с каким-то странным лицом, будто боялся, что оно прозвучит слишком громко. Я не понимаю тогда, что это значит. Я вижу только, как мама начинает плакать по ночам, а отец реже шутит. Мы перестаём ездить к нему в дом по воскресеньям, и однажды отец говорит: «Нам нужно в больницу. Ты должен увидеть его». Голос ровный, но я вижу — внутри него что-то зыбко вздрагивает.

Больница, в которую мы приезжаем, — старая, с высокими потолками и длинными коридорами, которые пахнут хлоркой, стерильностью и чем-то ещё — чем-то неуловимым, почти священным. Я никогда не был в таких местах до этого дня, но когда я переступаю порог, я не чувствую страха. Это что-то другое. Что-то, что я не могу назвать в этот момент, но что сейчас я назвал бы «призванием». Белые переходы и галереи, залитые ярким светом, кажутся мне бесконечными, но в них нет пустоты. Только движение, какая-то

непонятная мне энергия. Врачи в белых халатах, медсёстры с капельницами, санитары, катящие кресла, аппараты, которые пищат, дышат, считают. Люди входят и выходят из палат, и я замечаю, как на их лицах отражается что-то, что я не могу понять — смесь усталости, надежды и той странной тишины, которая бывает только в местах, где решается судьба.

Идя по коридору, держась за руку отца, и я смотрю на всё вокруг. На врачей. На их руки. Они двигаются плавно, уверенно, как будто знают что-то, что не знает никто другой. И внимательно, изучающе вглядываюсь в пациентов. Некоторые лежат с закрытыми глазами, их лица уставшие, бледные, почти прозрачные. Другие сидят на кроватях, глаза открыты, и они смотрят на врачей так, будто те — их последняя надежда. А врачи — они не отводят и не прячут взглядов. Они склоняются, слушают, шепчут, делают что-то руками — и пациенты оживают. Может быть, не все. Но многие. Я заворожённо продолжаю наблюдать. Тогда, будучи ребёнком, я ещё не знаю, что такое смерть в полном смысле этого слова. Но я вижу, как она отступает. Как свет побеждает отчаяние. Как в этих холодных, стерильных коридорах бьётся самое горячее сердце — сердце тех, кто возвращает.

Палата дедушки залита светом. Он лежит на больничной койке. Я знаю его совсем другим — он никогда не упускает возможности подхватить меня на руки при встрече или с серьёзным видом, по-мужски, похлопать меня по спине. Сей-

час он обвит странными трубками и проводами. Он выглядит меньше, чем я помню его буквально несколько месяцев назад. Бледнее. Но когда я вхожу, он открывает глаза и улыбается.

— Корнелиус, — и его голос сухой, но по-прежнему родной. — Ты пришёл. Садись рядом.

Я сажусь на стул у его кровати. Отец стоит позади, и я ощущаю его руку на моём плече. Дедушка сжимает мою ладонь тепло, но слабо. Он молчит о том, что с ним происходит, просто спрашивает, как мои дела, как школа, как шахматы. Он говорит так, будто ничего не изменилось. Будто он всё ещё может играть со мной, собирать вместе фрукты и строить планы на зимние праздники. Будто он не умирает. А потом смотрит на меня тем самым взглядом, который я запомнил навсегда, улыбается, и в его глазах нет страха. Только покой.

— Ты будешь в порядке, Корнелиус. Я знаю. У тебя есть твой отец. У тебя есть твоя мама. И у тебя есть твоё сердце. Слушай его. Обещаешь? Только его.

Не знаю, что ответить. Я просто сижу и держу его руку, пока он засыпает. А потом выхожу в коридор и иду к выходу. Мимо палат, медсестёр, санитаров. И я чувствую, как внутри меня что-то щёлкает. Не как выключатель. Как замок. Как дверь, которая распахивается и больше не собирается захло-

пываться.

У стойки медсестры сидит женщина с уставшими глазами и седыми волосами. Она заполняет какие-то бумаги. Я наблюдаю, как она пишет, как её пальцы двигаются по листу, и мне кажется, что она занимается каким-то самым важным делом на свете.

— А вы... как вы это делаете? — интересуюсь я с неподдельной искренностью и почти восторгом.

Она поднимает голову, внимательно смотрит на меня, и в её глазах мелькает удивление.

— Что, сынок?

— Как вы можете смотреть на это каждый день? На смерть? На боль? Как вы не боитесь? Вы же не боитесь, правильно?

Она улыбается в ответ на мои слова. Не снисходительно. По-настоящему.

— Я боюсь, малыш. Но всегда продолжаю, потому что я вижу, как они открывают глаза. И они загораются, когда понимают, что будут жить. Как их близкие плачут от счастья, а не от горя. Это всё, что нужно. Один взгляд. Одна улыбка. И ты понимаешь, ради чего ты здесь.

Дедушка умирает через три недели. Снова держит меня за руку и улыбается. Молча. Просто сжимает мою ладонь так, чтобы я знал — он не боится. Потому что он уверен — я буду в порядке. Он уже видит в моих глазах тот же свет, который

я видел в глазах врачей.

Когда мы выходим из больницы, я снова иду по тем самым коридорам, не упуская из вида на одной детали. В этот момент я уже знаю, кем хочу быть.

— Пап, я буду как они. Я хочу спасти людей. Я хочу быть врачом! — Выпаливаю в машине по пути домой.

Отец смотрит на меня. Долго. Так, как смотрят на что-то важное. Потом улыбается — той самой улыбкой, которую я запомню навсегда. Не остроумной, не ироничной. А тёплой, настоящей.

— Ты будешь, сын. Ты будешь лучше всех. Я знаю.

Он надолго замолкает, но я знаю, что он думает о том же, что и я. О том, как я смотрел на врачей. О том, как я говорил о них. О том, как я сжимал руку дедушки.

— Папа, — заговариваю я снова, прерывая тишину. — А ты гордишься мной?

Он улыбается.

— Всегда, сын. Я всегда тобой горжусь.

Через год он уходит. Я не знаю, почему. Никто не говорит мне. Однажды он просто перестаёт возвращаться домой. Помню один из таких вечеров, как мама сидит на кухне, смотрит в одну точку и не говорит ни слова. Я подхожу к ней, хочу узнать, где папа, но она лишь качает головой: «Он

уехал по делам». Это ложь. Я точно знаю.

Мама пытается оградить меня, улыбается каждый раз, когда я возвращаюсь из школы, гладит меня по голове, нежно запускает руки в мне волосы и говорит: «Всё будет хорошо, Корнелиус». Но я вижу её глаза. Они пустые и красные от слёз, которых я никогда не вижу. Она всегда ждёт, когда я закрою дверь спальни, и только тогда позволяет себе тихо расплакаться в подушку. Я слышу это каждую ночь. Всегда. Но делаю вид, что ничего не замечаю. Потому что если я признаюсь себе, что знаю, как ей больно, я тоже сломаюсь, а я не могу, мне нельзя, я должен был быть сильным. Для неё. Для себя. Для того, чтобы мы оба не утонули в этой тишине.

Он не перестает быть моим отцом. Продолжает звонить каждую неделю, присылает деньги. Много. Оплачивает мою новую школу, лучшую в городе, сказав: «Ты должен получить лучшее образование, Корнелиус. Ты должен стать тем, кем хочешь быть, ты же помнишь наш разговор?». Он говорит это по телефону, и я слышу его голос — всё тот же, тёплый, родной, но теперь почему-то такой далёкий. Как будто он говорит из другого мира. Мира, где больше не пахнет блинчиками и клубникой субботним утром.

Моя первая большая потеря. Но я справляюсь, ищу выход и начинаю называть себя Кори. В школе, среди друзей, в документах — везде, где только могу. «Кори Уэйн» — так

проще, короче, легче. Никто не спрашивает, что это значит, никто не коверкает моё имя, никто не улыбается с насмешкой. Я стал Кори. Спасательным кругом из четырёх букв, в котором я учусь прятаться от собственной истории. Но до сих пор в официальных бумагах, когда я заполняю анкеты и вижу напечатанное «Корнелиус Дэвид Уэйн», — внутри меня что-то ёкает. Как будто я натыкаюсь на собственное прошлое. На того мальчика, который сидел у кровати дедушки, сжимал его руку и слушал, как он произносит это имя — с уважением, с почётом, с той глубокой любовью, которую я больше никогда не получал в таком чистом виде. «Корнелиус» — это не сегодняшний я. Это я, который был важен. Которого любили без условий. Который был самым нужным человеком на свете для одного старого военного, умевшего играть в шахматы и называвшего меня только полным именем.

Я стал Кори везде и для всех, потому что так легче. Но в этом коротком имени, в этой тишине между «К» и «и», я ношу напоминание о том, кем я был. О том, какую любовь я получил. О том, какое благополучие у меня было. Точно знаю: как бы далеко я ни ушёл от того мальчика, он всё ещё живёт во мне. В моём смехе, в моей боли, в моём желании спасти.

Глава 2

Первые недели в новой школе я один. Сажу на последней парте, смотрю в окно и ни с кем не разговариваю. Я думаю о том, как сильно хочу вернуться в прошлое. В тот дом, где играл джаз, и некуда было скрыться от запаха персиков и вишни. Я не знаю, как быть здесь, среди новых для меня людей. Мне не страшно — просто странно и прячусь от этого за словом «ждать». Жду, когда закончится урок, день, четверть. Я даже не знаю, что жду чего-то другого. Просто считаю дни.

Я тощий и тихий, так даже проще, чтобы никто не замечал. Я думаю, что это моя судьба — быть невидимым, что я никогда не стану тем, кого будут помнить — выбираю быть фоном для чужих жизней, но внутри меня живёт голос. Он говорит: «Ты не такой. Ты не должен быть таким. Ты не имеешь права». Не знаю, что он имеет в виду, не понимаю, кем я должен быть, но точно осознаю, что я хочу быть кем-то. Хочу, чтобы меня заметили. Хочу, чтобы меня запомнили. Хотя бы раз. Хотя бы на мгновение. На одну, сука, секунду.

Именно тогда я понимаю одну вещь: если меня не устраивает быть тенью, я должен выглядеть так, чтобы меня было видно. Не просто заметно — а так, чтобы меня запомнили. Чтобы, когда я вхожу в комнату, все поворачивали головы. Чтобы мой образ говорил за меня, даже когда я молчу. И я начинаю броско одеваться. На свое шестнадцатилетие я спускаю все деньги, которые отец присылает на месяц, на шмотки, и не потому, что хочу нравиться девчонкам. Парни

из класса, ксати, уже во всю мутят с ними, шепчутся о пикантных подробностях, выдуманных ими же, некоторые действительно приглашают одноклассниц в кино или вместе делать домашку. Нет. Мои изменения — не про них. Это про меня. Про то, чтобы смотреть в зеркало и видеть не худого парня с рюкзаком, который больше него, а человека, который знает, кто он есть. Или хотя бы притворяется, что знает. В один из вечеров я захожу в парикмахерскую и прошу сбрить мне волосы почти в ноль. Начинаю бриться каждый день, чтобы щетина росла гуще. Кори Уэйн обретает новый облик и ощущение самого себя. И мне это нравится.

Деньги, которые даются мне как способ загладить вину, тратятся на нового меня, на костюмы и рубашки, которые сидят идеально. На туфли, которые блестят, даже когда на улице грязь. На парфюм и коллекцию чаёв в ярко-красных банках.

Парфюм, — отдельная история. Я люблю запахи с детства. Мама всегда говорила, что я прекрасно улавливаю оттенки любых, даже сложных ароматов. Она была права. Я мог различить ноты любой композиции, почувствовать, где заканчивается один аккорд и начинается другой. Это было как музыка, только на коже. Я выбирал одеколоны, как выбирают оружие. Соль, металл, минералы, древесина, табак, кожа, гвоздика. Ничего лишнего. Только то, что остаётся на коже после того, как ты вышел из комнаты. Чтобы люди оборачивались и думали: «Кто это прошёл?» Кори Уэйн не хо-

тел быть тем, кого забывают. Он хотел быть тем, кого помнят. Даже если не говорят ни слова. Даже если я просто стоял в углу. Мой образ говорил за меня: «Я здесь. Я есть. И я, блять, офигенный».

С годами это стало привычкой. Я не могу выйти из дома без идеально выглаженной рубашки, сесть за стол без того, чтобы проверить, хорошо ли отпарена скатерть, пройти мимо зеркала, не поправив волосы, завести машину, не убедившись, но на лобовом стекле ни пятнышка. Это не нарциссизм, точно знаю. Это уважение к себе, к тем, кто на меня смотрит, к тому, что я представляю. Я полюбил выглядеть острее, иначе, не так, как все. Я хотел, чтобы, меня вспоминали не просто как «доктора Уэйна», который вытаскивает с того света, а человека, который выглядит так, будто он только что сошёл с обложки. Потому что я знаю: как ты выглядишь — это то, как ты себя чувствуешь. И я хочу чувствовать себя хорошо. Даже когда внутри была и есть та самая острая херова пустота.

Отец никогда не понимал этого. Он из тех, кто носит одну и ту же куртку годами. Я люблю его, но я не хотел быть им. Я хотел быть собой — тем, кто приходит на работу в дорогом пальто и пахнет так, что даже министр оборачивается. Тем, кому завидуют санитары и которого боятся медсёстры. Тем, кто — да, блять, тощий. Но тощий в самом лучшем

смысле этого слова. Тощий-красивый-холёный-и-не-собирающийся-становиться-как-все. С худобой я тоже разобрался, просто чуть позже. Всё это стало моим способом сказать миру: «Я не жду, пока меня заметят. Я уже здесь. Смотрите. Запоминайте. Я, сука, стою того, чтобы на меня смотреть».

А потом она. Рыжая. Джен... нет, Джеки? Чёрт, я не помню. Потому что в моей голове она навсегда осталась просто как «она». Память — удивительная штука, она забрала не только боль, но и имя. А было охренеть, как плохо. Помню только волосы цвета меди, огромные веснушки, которые я мог пересчитать, если бы посмел подойти ближе. И голос — как треснувшая скрипка. Она сидит через ряд, и каждый раз, когда поправляет резинку на волосах, собранных в огненный хвост, мои пальцы немеют.

Я не говорю о ней с Энди. Вообще никому не говорю и старательно делаю вид, что ничего не происходит. Я умею молчать о главном — это до сих пор мой талант. Я молчал, когда отец уходил, когда мать плакала по ночам, когда в моей груди что-то трещало от одного взгляда конопатой. Я думаю, что любовь — это то, что нужно заслужить, а я ещё не заслужил. Поэтому просто смотрю и жду. Глупо, да?

Он всё понимает, наверное, даже лучше, чем я сам тогда. Читает, как открытую карту. И как-то на перемене, придвигается ко мне в коридоре и говорит:

— Ты смотришь на неё так, будто она — ответ на все эк-
замены в полугодии.

Я краснею, хотя обычно от моих слов краснеют другие.

— Заткнись, идиот.

— Она симпатичная, — он одобрительно пожимает пле-
чами. — Но она не для тебя.

— Почему?

— Потому что ты не умеешь брать. Ты умеешь ждать. А
в этом мире ждут только проигравшие.

Тогда я не понимаю его слов, идиот. Я просто думаю: «Он
хочет защитить меня». Каким же придурком я был. Просто
идеальным воплощением полного дебила.

Через месяц они целуются на заднем дворе школы. Я вижу
это из окна кабинета биологии, когда мою пробирки после
урока химии. Стою в перчатках, натянутых до локтя, в мыль-
ном растворе, заливающим фартук и вижу, как она откиды-
вает голову, он держит её за затылок, и их волосы — тём-
ные и рыжие — сплетаются, как провода, которые замкнули
мою цепь. Я не плачу, нет. Я до сих пор не умею этого де-
лать, последний раз слезы только тогда, когда Мию привезли
в Истхолл с кровотечением. Плакал не от беспомощности,
а от страха её потерять. Орал на свою бригаду и медсестёр,
контролировал каждый писк датчиков на мониторе, отсле-
живал показатели, не отводя глаз от монитора ни на секунду,
а слёзы текли, не переставая. Сейчас же, наклонившись над

мойкой в лаборатории, я просто смотрю на свои руки — они дрожат, и я не знаю, от холодной воды в лабораторном кране или от той пустоты, которая начала разрастаться внутри.

Но это еще не херня. Настоящая приходит через три дня. Первой осознанной болью. Такой, что я задыхаюсь.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.